

Наришэр бохер, вос дарфсту фрэйгн?
А штэйн кэн ваксн, ваксн он рэйгн,
Либэ кэн брэнэн ун нит ойфхэрн,
А харц кэн бэйнкен, вэйнэн он трэрн¹,—

поют сёстры Бэрри с глубокими придыханиями на «т», красиво редуцируя «р», делая дешёвую уличную песенку похожей на произведение искусства.

В городе Самаре бесчинствует ранний май: напропалую сияет, стирая тени, солнце, отчаянно кокетничают нежно-розовым цветом яблони, синовой соперничает с безоблачным небом великая Волга. В городе Самаре бесчинствует ранний май, лёгким весенним сумасшествием сводя горожан с ума.

Майским сиянием озарена комната, солнечные зайчики прыгают, отражённые стёклами старомодной стенки с посудой. И поют сёстры Бэрри.

«День Победы на носу, а они какие-то немецкие песенки гоняют. Совсем с пути съехали. Уж „Катюшу“ бы какую завели»,—громко ворчит худой прямой старик с клоками седых волос на лысеющей голове и грозными седыми бровями. «Да везде, поди, „Катюшу“ и передают. Это ты радио на какую-то весёлую волну настроил»,—усмехается сын. Сыну под шестьдесят. Седой, как и старик, но волосы гуще и не так худ. В лице есть сходство с отцом, но если внимательно посмотреть на женщину, чьими фотографиями уставлена и увешана комната, то можно понять, на кого похож сын в самом деле. Фотографии охватывают период её жизни с самой ранней юности до последних лет. И особенное сходство—именно с последними портретами. Мать и в старости была красива, только глаза, в молодости уверенные и насмешливые, смотрели жалко и безумно. Глаза сына смотрят иронично и грустно. Старик сокрушённо качает головой: «Да не вижу ни шута. И голова, паразитка, кружится. Вот радио крутанул да на немцев и попал».—«Это, кстати, не немецкий, пап. Они на идише поют».—«А-а, и-идиш,—тянет старик.—Да я не понимаю. Это ты там, в Израиле, понимаешь».—«В Израиле на иврите говорят»,—возражает ему сын. Старик машет сухой жилистой рукой: «Идиш, иврит—я не понимаю».

Сын тихо смеётся: «Ну как же? Ты же еврей-то у нас». Старик снова машет рукой: «Евре-ей... Мать-то моя, ну, твоя бабка, Марья Иванна, она ведь Мирьям была, как это говорят, в девичестве. Да какое там девичество! Девчонка—пятнадцать, что ли, лет. А дед твой, Николай Иваныч, отец-то мой, он ведь её, считай, украл».—«Я знаю, пап»,—откликается сын. «Ну да,—всё равно продолжает старик,—отец-то мой, Николай Иваныч, по делам в еврейскую деревню приехал, упряжь, что ли, починить, и увидел её. И, как это говорят, погиб... Ну и сам ей, надо понимать, приглянулся. Короче, как-то там они стакнулись, и он её к себе в русскую деревню увёз. А там уж с попом всё сладили: в христианскую веру окрестили, Марьей Ивановной нарекли—и по православному обычаю под венец. Ох, красавица была! Да ты ведь и сам фотографию видел». Сын кивает головой. Он знает эту историю наизусть и слышит её по нескольку раз в каждый свой ежегодный приезд к отцу, в эту квартиру.

Квартира досталась в наследство от деда, отца матери,—начальника областных мтс, областной сельхозтехники сиречь. Дом построили в тридцать седьмом, в новом центре недавно переименованной в Куйбышев Самары, считай, на волжском берегу, на углу Ново-Садовой и Полевой, для работников сельского хозяйства областного масштаба. Дед получил трёхкомнатную квартиру с кухней на первом этаже: два окна—на Волгу, два окна—на гремящую новой трамвайной линией Ново-Садовую. Кроме деда с бабушкой и маленькой тогда ещё мамы, в ней поселилась грозная прабабка Матрёна Филипповна—мать деда, жена дедова отца-потёмкинца, уехавшая за ним с детьми в 1907-м сначала в румынскую, а потом в канадскую эмиграцию. Вернулись все вместе в 1917-м, почуяв веяние социалистического ветра. Им тогда показалось—свежего... Матрёна Филипповна пережила мужа и двоих сыновей—младшего, деда, и старшего, пропавшего без вести в Великую Отечественную,—и до самой смерти на девяносто втором году, уже где-то накануне шестидесятых, сохраняла ясную голову. Замкнутая, волевая, она занимала комнату, выходящую окном на Волгу, которая потом превратилась в детскую. До сих пор остались в памяти отпускаемые ею по поводу

1. Транслитерация текста песни «Тум-балалайка».

соседей мрачные замечания, вроде: «Сами кобели да собак развели».

В этой квартире сын со старшей сестрой, дочерью матери от первого брака, выросли на руках у бабушки — маминой мамы, сухонькой старушки, выпускницы классической гимназии и учительницы русского языка. Вот у кого он ему выучился. Потом сестра уехала в Казань, в университет, а он остался в этой квартире одиноким мечтателем. Так хотелось куда-то уехать! А уж как рвался из этой квартиры, когда не по-доброму пришлось вернуться в Самару после московского краха и последующих беспотопных странствий, — как из клетки наружу! И сбегал-таки — чёрт-те куда, в Израиль. Как по живому резанул необратимо. Хотя в чём-то это и правильно было. Когда сестра с семьёй бежали в начале девяностых из Средней Азии, в этой квартире и поселились с родителями. То есть ему-то с его семьёй особо и жить негде было бы. Потом сестрин муж — профессор математики — получил квартиру от института, а эта, дедовская, осталась неразменным сокровищем. Он, когда уезжал, от прав на неё отказался. А сейчас вот в ней живёт отец — древний уже старик, и сестрины дети ждут его смерти, чтобы наконец пустить это сокровище в оборот, и — всё. Продадут, разменяют, и — «распалась связь времён»! Сейчас эта мысль вдруг явилась ему во всей жестокости своей, и он горькой последней любовью полюбил ветшающее без дорогого ремонта жилище. Если его не будет, и приезжать-то сюда особо незачем. С сестрой они в последнее время разошлись. Она почему-то не могла ему простить отъезд в Израиль. Да и с его женой-еврейкой отношения у неё не заладились.

Он вздохнул, тихо прошёл на кухню, открыл шкаф, где отец зачем-то хранил немислимые запасы муки в больших стеклянных банках, достал из-за них наполовину опорожнённую бутылку коньяка, основательно отпил из горлышка и вернулся в комнату. «Ну а когда в эвакуации была где-то под Ульяновском, все документы потерялись, а в новых уж её записали Марьей Ивановой, ну и русской, соответственно. Вот те и еврей, ты говоришь... — продолжал, не обратив внимания на его отсутствие, отец. — А евреев-то я помню — мать меня водила в её семью. Ну, когда уж улеглось всё и они её простили вроде. Ну я чё — ребёнком был. Помню только, свечи горят. Прямо душно от свеч, знаешь, и какие-то все во всём чёрном, в шляпах чёрных и что-то бубнят. Так мне, знаешь, не понравилось! — он скорчил неприязненную гримасу, тряхнул сухой старческой головой и заговорил бодро, почти задорно: — В сорок первом я добровольцем пошёл, а восемнадцати ещё не было, и меня в радиоучилище определили. В Ленинград сначала, а потом, перед блокадой, нас в Казахстан перевели. На войну только в сорок третьем попал. Как раз вот на Курскую дугу, связистом. Ох, что

там творилось — ужас! А потом ко мне особист подошёл, говорит, будешь в „Смерше“ служить. Я рот раскрыл, смотрю на него. А он по плечу меня хлопнул, рассмеялся, и — всё. И меня — на Северный фронт, шпионов ловить. Ну, в окопах я, конечно, не сидел, но всякое случалось. Вот как-то ехал верхом. Местность такая — типа тундры. И „кукушке“ под прицел попал. Честно, не знаю, как жив остался. Финские снайперы промаху не давали. Конь меня вынес. Спасибо коню. И под бомбёжкой, само собой, не раз бывал, и под артобстрелом. А в окопах не сидел — чего не было, того не было. Шпионов ловили, да. Их в прифронтовой полосе было — кишми кишели. Одну даже женщину поймали — эстонка по нации была. Злющая — страх! В Центр её отправили. Ну, бытовые-то условия у нас так ничего были. Да и не голодали. Рыбы красной, горбуши этой, полно было. Хлеба вот не хватало. Паёк — и всё».

Старик умолк, обвёл взглядом фотографии. На одной юный темноволосый красавец-лейтенант в кителе с воротником-стойкой и орденом на груди обнимал приникшую к нему красивую молодую женщину. «А орден-то дали... Подъезжаем с водителем к переправе, а там затор — ни туда, ни сюда. Теснота, никто никого не слушает. Ну, я вышел — притихли сразу. Шутка ли — „Смерш“. Хотя и мальчишка, а лейтенант гэбэ — не хухры-мухры. Ну и порядок навёл. А тут сам Рокоссовский едет. Так и так, спрашивает: „Кто порядок навёл?“ Я подхожу, представляюсь. Он адъютанту: „Запиши“. И ко мне: „К ордену представляю“. И так вот и дали орден. У него слово — дело было». Старик снова умолк и, как бы переведя тусклый старческий взгляд из прошлого в настоящее, вздохнул: «Голова, паразитка, кружится — спасу нет. Думал, в госпитале подлечусь. А они ведь чего? Раньше-то госпиталь к Минобороны относился, и всего там было полно: и питание четырёхразовое, и лечили как надо. А теперь-то взяли да к Минздраву прикрепили, и — всё. И еда — не еда, каша пустая одна, и лечение — не лечение. Целыми днями валялся — никто не подходил. Да и чёрт с ними. Пока вот, видишь, сам себя обслуживаю. Хотя жаль мне, конечно, что ты уехал. Плохо мне без тебя».

Усына больно защемило сердце: «Ах, да знаю я, знаю! И звал же я тебя к себе, когда умерла мама, хотя сам толком не знал, как сможем мы там все ужиться. Но ты сказал: „Здесь могила её — здесь я останусь“. А теперь уж чего говорить. Знаю я, что для сестры ты — ворвавшийся в жизнь матери самозванец, разрушивший прежнюю семью и лишивший её, сестру, родного отца. И она злится, что ты сидишь в этой квартире, которую она считает своей, завещанной ей дедом. Хотя ты и относишься всю жизнь к сестре как к родной, не делая между нами никакого различия, и вывозил её с семьёй под обстрелом из таджикской смуты. Я знаю, папа.

Знаю, что дети сестрины приходят к тебе, потому что денег ты не считаешь и щедро раздаёшь налево и направо свою ветеранскую пенсию. Богач! А какой ты, ей-богу, богач? С подачек кремлёвских не больно разбогатеешь — им там самим бабки позарез нужны. А любимые твои внуки приёмные и убраться-то в квартире, которой алчут, толком не могут. Всё я знаю, папа. Но и ты меня пойми: некуда мне было деваться, не выжил бы я здесь, вот и уехал. Думал, привыкну там, сживусь, а нет — всё равно сюда тянет, и сердце болит. И эта боль сердечная трещиной проходит по всей жизни моей и всё больше отдаляет от сына и от жены».

Он отвернулся к окну и ничего не сказал вслух. «А больше всего я жалею, что внук мой не на моих глазах вырос, — продолжал рвать сыновнее сердце старик. — Уж как он меня маленький любил! А мать-то горевала, когда вы уехали! Думал, совсем с ума сойдёт. Ох и любила она тебя!» Сын всё сидел, отвернувшись к окну, и перед его глазами вставал, снова переживался весь искорёженный, как в эпиплептическом припадке, миг отъезда. Отъезд — как побег: душный Вавилон летнего самарского вокзала, слёзы — пьяное вино потерь, перекошенное растерянным отчаянием лицо отца, впившегося в загорелую ручонку ничего не понимающего внука, застывшее, с пустыми глазами, лицо матери, наглотавшейся успокоительных, перепуганный тесть, заплаканная тёща. «Ну вот и всё. Застыв в дверях вокзала, прости мне, Русь, что сердце вдруг устало переживать твой чёрно-алый бред».

До него донёсся голос отца: «Знаешь, никогда в церковь не ходил, а последнее время, особенно как мать умерла, хожу, свечки ставлю. Не знаю, поможет — нет. Ты как думаешь? Ты ведь вроде как христианин крещёный». — «Ну, если с верой ставишь, то поможет», — отозвался сын. «А вот скажи мне, как ты там в Израиле? Ну, я имею в виду, там же вера-то другая, не христианская. Это ведь даже в церковь не пойти...» — «Ну вообще-то есть там христианские церкви — в Иерусалиме, на севере. Где я живу, там, правда, нет. Да ведь, пап, церковь — это не место, где свечки ставят. Как Спаситель говорил: „Где двое и трое соберутся во Имя Мое, там и Я между ними“². То есть это, видишь ли, собор единомышленников, единоверцев, а не рукотворный храм какой-то». Старик трясёт сухой головой с клоками седых волос: «Ну, это ты мудрено говоришь. Это мне не понять». — «Да это не надо понимать, — мягко возражает сын. — Это... внутреннее, вечное такое духовное единство. Как вот, к примеру, с мамой вы близки были, и хотя она умерла, а для тебя всё равно живая, близкая — гораздо ближе живых, с которыми тебе общаться приходится». Старик смотрит на него внимательно и согласно кивает головой. В мутных старческих глазах блестят слёзы. Сын, расчувствовавшись, хочет добавить: «Ну, или, к примеру, мы с тобой...» Но осекается, молчит. «Распалась связь времён!»

Либэ кэн брэнэн ун нит ойфхэрн,
А харц кэн бэйнкен, вэйэн он грэн².

.....
2. Любовь может пылать, никогда не угасая,
Сердце может тосковать и плакать без слёз.